

Илья Каминский

В поисках утраченной Одессы, или Глухое детство

Когда поэт возвращается в город тишины

Отчетливей всего я помню, как мыл Льву Толстому уши. 1989 год, каждое утро – революционное, год, когда страна, в которой я родился, начинает разваливаться. Его уши больше моей головы; я стою на плечах мальчика, который стоит на плечах другого мальчика. Я драю огромную бородатую голову на пьедестале – в центре площади Льва Толстого, в одном квартале от нашего дома. Такое мое детство: раз в год я с одноклассниками должен идти на эту площадь и мыть голову мертвому писателю. Мы забираемся друг на друга и вычищаем Толстому ноздри и уши.

Чуть поодаль стоят мои родители, наблюдают и смеются. Их глухой мальчик лезет вверх, чтобы отмыть гигантские уши. Позади них – группа матросов, Одесса – порт, в Одессе – морская школа. Молодой командир кричит, но я не могу его слышать: «Левой, правой, левой, правой». Ноги матросов поднимаются по очереди вверх и обрушиваются на мостовую. Зная, что я вижу ее со своего поста у Толстого, моя мама, слегка располневшая средних лет женщина, начинает маршировать, присоединившись к колонне, ноги поднимает высоко, подражая матросам, ее юбка взлетает вверх, мой папа аплодирует.

Слуховой аппарат у меня появился только в Америке. Одессу я запомнил как город тишины, и речь у меня всегда ассоциировалась с папиными губами, которые снова и снова что-то рассказывали. Ели он отворачивается, сюжет прерывается. Стоит ему повернуться ко мне, как история продолжается.

Через десятки лет, когда я приехал в этот город, мне пришлось выключить мой слуховой аппарат, чтобы по-настоящему прочувствовать свое возвращение.

Клик – и губы людей продолжают двигаться, но звука уже нет.

Не слышно шагов бабушек, спешащих за своими внуками. Кондуктор трамвая, из которого я собираюсь выйти, ничего не объявляет на остановке. И я прыгаю в открытые двери.

Останавливаю такси, которое резко сворачивает к обочине. Но я не слышу визга его тормозов.

Это Одесса моего детства: губы отца раскрыты, я смотрю воспоминание. Он наклоняется, чтобы поднять монетку. Оно прекращается. Отец выпрямляется и улыбается мне, и я слушаю его дальше.

Немецкий солдат тащит из дома еврейского ребенка. Его приемная мать, русская полуголая женщина, орет и бежит за ними. Другой солдат преграждает ей путь. Еще один хлещет ее по щекам и смеется. Улицы безлюдны, только детские игрушки разбросаны по снегу. Соседи закрывают окна. Резко хлопают дверьми. Женщина стоит на коленях на опустевшем тротуаре, солдаты впихивают в фургон ее ребенка.

И вот когда это случилось, губы отца останавливаются.

Из заснеженной одесской подворотни появляется полный мужчина, украинец.

– Что вы делаете? Вы, ублюдки! Куда вы забираете моего ребенка? Дайте ваши фамилии! Ублюдки! – тяжело дышит от гнева. – Я хочу увидеть ваши документы! – не может сдерживать ярость.

Солдаты на время замирают, смотрят на него озадаченно.

– Это же еврейский ребенок – не видишь, что ли?

– Вы дебилы! Я похож на еврея? – толстый украинец топает ногой, и его грузное тело колыхается над упавшей на тротуар женщиной.

Окна открываются. Кто посмел так разговаривать с немецкими солдатами в оккупированном городе? Люди тарачатся. Солдаты поглядывают на окна, потом быстро садятся в фургон. Ребенок остается на снегу.

Толстяк поднимает мальчика, надевает на него свое пальто.

– Я пожалуюсь кому следует!

Целует женщину долго и жарко. Фургон с солдатами исчезает за поворотом.

Толстяк молча поворачивается и уходит вместе с женщиной и ребенком. Они бредут впереди него. Соседи больше никогда его не увидят.

Этот рассказ все еще живет, и мой отец, тот самый ребенок, которого спасли, ребенок, который никогда больше не увидит толстяка, продолжает повторять и повторять об этом своему глухому сыну.

Если бы мои дяди и тети, двоюродные братья и сестры встретили меня на улице, был бы скандал. Я отправляю поздравительные открытки и иногда подарки. Сорокалетний мужчина, возвратившийся в город детства, – это не я, не тот американский родственник, которого они знают. Зачем я здесь, в стране, предавшей мою семью? Много лет все, кто меня знают, будут спрашивать меня об этом. Что я пытаюсь вспомнить?

Я выключаю слуховой аппарат и подхожу к стенам домов, и дотрагиваюсь пальцами. Дурак, который касается кожи времени и проходит через нее, возвращаясь к детству, – касается тротуаров, которых он когда-то касался. Касается, как тот пятнадцатилетний глухой мальчик. Как много значит настоящее для тех, у кого больше ничего нет.

Проезжает трамвай, и стены дрожат, как будто помнят обрывки историй. Наивно так полагать. Наивно думать, что Одесса, которая является частью сознания моего отца, теперь также и моя. Я выключаю слуховой аппарат и опять оказываюсь в тишине, вокруг которой губы людей продолжают двигаться.

Мой отец – подкидыш. В год, когда он родился, его собственный отец Илья арестован и расстрелян как «враг народа». В год, когда он родился, его мать Юлианна выслана в Сибирь. Он ничего не помнит. Его память включает четыре года спустя.

1941 год, начинается война, и Шура, его приемный отец, уходит добровольцем на фронт. 1941 год, и его приемная мать Наталья едет на трамвае на окраину, чтобы рыть траншеи вокруг

города. 1941 год, когда у четырехлетнего мальчика появляется первое воспоминание: толстый украинец спасает его от иностранных солдат. Соседи открывают окна и наблюдают, как Наталья воет в снегу.

1941 – первый год, который помнит мой отец. Самолеты бомбят ликероводочный завод. Соседи бегут с чайниками и кастрюлями. Они слизывают водку с булыжников. Я глухой мальчик, наблюдающий за губами отца. Он наклоняется, чтобы завязать ботинки, и рассказ прекращается.

Он выпрямляется, и люди бегут с чайниками, из которых капает водка, – все счастливы, пусть на мгновение.

В рассказе моего отца это всегда 1941 год. Старушки пьют водку из своих маленьких бутылочек для лекарств. Они отворачиваются, словно пытаются что-то скрыть. Что они скрывают в 1941 году? Тишину их мужей, которые им не пишут из раздираемых войной территорий? Это 1941 год, говорят губы отца. Ликероводочный завод бомбят. Женщины чокаются. Плевков над городом летит, как божья птичка.

Отец уже давно умер. На улицах Одессы новые автомобили, новые звуки. Вырастают новые здания и очень быстро превращаются в развалины.

Снимаю свой слуховой аппарат, сделанный в Америке. Теперь я глухой мальчик, который старается идти быстрее по снежным одесским улицам. Не слышно шагов моего отца, когда он тащит наши продуктовые сумки. На подоконнике нет голубей. Никаких звуков проносающихся мимо сирен.

Я вернулся через двадцать лет, а здесь уже все мертвы. Я – стареющий человек, который снимает пиджак на скамейке, видит обнаженные зубы собаки, щелчок языка, шипение. Он не знает, почему он здесь, почему он счастлив, свободен. Не знает, почему он купил билет в Одессу. Если его родители мертвы, что ему здесь делать, в этом пустом городе?

У отца больше нет рассказов. Снова и снова то воспоминание об оккупированном городе появляется в памяти. Немецкие и румынские солдаты. 1941 год. Нет ни одного письма от Шуры, потому что из разгромленных полков никто не пишет

в 1941 году. Наталья шьет платья, потому что даже в оккупированном городе люди покупают платья. Она покупает яблоки, потому что мальчики в 1941 году едят яблоки. Но все еще нет писем от Шуры. Никто не знает, что его отправили на лошади атаковать немецкие танки.

Идет 1941 год, и в Одессе больше нет ее евреев. Немцы маршируют на улицах города, где продолжается жизнь, люди покупают платья. У моего отца больше нет историй. Он – мальчик, побритый налысо, поэтому его темные волосы не привлекают к нему внимания. С 1941 года нет рассказов.

Каждое утро пахнет свежим хлебом. Это не для мальчика. Это для соседей, чтобы они не выдали их семью. Пощечина.

– Не ешь хлеб, малыш.

Пощечина.

В тот 1941 год в оккупированном городе на ступеньках перед их квартирой вдруг появляется Шура. Нет рассказов, только образ. Беглый солдат снова и снова стучит в дверь. В оккупированном городе всегда 1941 год, и Шура всегда появляется на ступеньках перед квартирой. И запах хлеба, который мальчику не разрешают есть.

Нет историй. Человек, которого они считали мертвым, стоит перед ними в гостиной. Была бомбардировка? Были лошади? Танки? Деталей нет. Его взяли в плен немецкие солдаты. Загружен в поезд. Он сбежал посреди ночи.

Я, глухой мальчик, прошу отца рассказать историю. Только половину произнесенных русских слов глухой может прочесть по губам.

Два десятка лет после того я снова в городе. Я гуляю по улицам и бульварам, стараясь вспомнить истории моего отца. Я открываю окна, вижу, как собаки мочатся под памятником политическому деятелю, вижу его высокомерный торс, выпирающий в истории.

Нет истории, только каждое второе слово, прочитанное на губах моего отца. Сбежавший солдат возвращается в оккупированный город, чтобы увидеть сына. Все, что у меня есть: его образ и открывающаяся дверь.

У отца нет историй. Только губы продолжают двигаться на-против глухого мальчика, у которого нет слухового аппарата. Звук проникает через ушные раковины, а затем проходит сквозь тонкие хрящи, заставляя мембраны вибрировать, и эти крошечные волосы танцуют. Мой отец умирает сразу после того, как мы переезжаем в Америку.

Нет рассказов. Снова в Одессе. То я выключаю мой слуховой аппарат, то включаю. Что я все еще пытаюсь вспомнить? Слух – это не рефлекс. Глухого, когда ему выдают слуховой аппарат, следует научить слышать:

Это гудок грузовика.

Это телефонный звонок.

Это пьяный на втором этаже кашляет, как курица, как будто с нее, с живой, снимают шкуру.

Шура идет целый месяц в Одессу по снегу. Я все это вижу во фрагментах. Фрагменты – это все, что у нас есть.

1941 год. У него нет еды. Выпрыгнув из немецкого поезда, пока конвой спал, он подвернул ногу. Он избегает главных дорог. Он ест снег. Он добирается до Одессы 30 дней. Он крадет еду из соседних деревень.

Сколько колхозников не выдадут его, беглого солдата с обезглавленной курицей? А иногда он ест снег.

Сбежав от немцев, Шура останавливается в деревнях на ночь. Избегает людных дорог. Женщины дают ему еду. Мужчин в деревнях не осталось. Ночью он крадет белье и бежит дальше. По снегу.

Избегает людных дорог. Но рядом с городом большой пропускной пункт. Охрана. Собаки.

Здесь губы моего отца останавливаются.

Шура весь в снегу встречает двух женщин на дороге. Они его увидели. Они могут его сдать. Солдаты узнают о воровстве в деревнях вдоль его маршрута.

Он на коленях. Перед женщинами в снегу он опускается на колени. Почему он здесь? Он хочет увидеть своего четырехлетнего сына в Одессе. Он умоляет.

Слышу только фрагменты. Одна из женщин становится на колени рядом с ним.

Фрагмент, больше ничего. Я печатаю это на пустой странице. Останавливаюсь и брожу немного. Стираю это. Снова набираю. Почему она становится рядом с ним на колени? Может, этот мужчина ей напоминает своего мужа, которого убили? Его живот весь в снегу.

Шура и женщина проходят мимо контрольного пункта. Он улыбается солдатам, женщина наклоняется к нему. Длинный поцелуй. Он играет с ребенком на руках.

Губы отца прекращают двигаться. Слишком много снега.

После того как они проходят, женщина прощается с ним. Шура больше никогда ее не увидит.

Существует много версий истории сбежавшего солдата. В одной мальчик целует своего отца, а за ним видит румынскую полицию, входящую в здание. Очень быстро мама снимает с себя платье и белую шляпу. Очень быстро отец набивает лифчик газетами. Мальчик смотрит на Шуру и Наталью: одетые, как две девушки, проходящие мимо солдат и выплывающие на улицу.

Нечего больше вспоминать. Только кусочек, когда Шура и Наталья, одетые, как две девушки, исчезают на улице. Пьяный румынский полицейский пытается их остановить.

Он пристаёт к Шуру. Он делает комплименты изгибам в Шурином летнем платье. Пьяный румын пытается схватить Шуру за край платья, засовывая деньги в карманы. Пойдем со мной, красавица!

Какое зрелище! Поцелуй в снегу. Наталья и ее муж. Снег падает на их волосы, в их блузы из тафты.

Может быть, нет никакого мужчины в платье? Никаких капель водки с неба. Просто сын, который боится признать, что на самом деле произошло. Поэтому он придумывает много сказок. Я глухой мальчик, который наблюдает за тишиной внутри своего отца, поскольку отец пытается наполнить ее рассказами. Мальчик видит это, но не понимает.

Из всех этих историй со мной осталась одна деталь. В каждой версии отец – это тот ребенок, который целует Шуру, а за ним видит румынскую полицию, входящую в здание.

Кое о чем мой отец никогда не говорит. Война заканчивается в 1945, и Шура возвращается.

Наталья устраивает празднование, которое прерывают офицеры НКВД, входят без стука и отнимают у нее мужа. Они подозревают его в государственной измене. Сотни бывших военнопленных отправляются в Сибирь. Не убить себя в плену – это преступление, наказуемое государством.

Вот о чем мой отец никогда не говорит: что спасает Шуру от тюрьмы, так это тот факт, что он вернулся с войны почти глухим. Однажды под бомбардировкой он потащил своего раненного сержанта, чтобы прикрыть его. Обстрел продолжался. Сержант выжил. Шура оглох.

Работники НКВД задают вопросы: он не слышит. Они кричат. Он не слышит. Они бьют его. Он не слышит. Пощечина. Он не слышит. Пощечина.

– Глухонемой, – констатируют офицеры и отпускают его.

Почему я купил билет в Одессу?

Я узнал в надписи на обратной стороне фотографии Шуры почерк отца: крик глухого, который он не слышит сам. Я не могу забыть этот крик. Без цензуры даже его собственных ушей. Человеческий голос, какой он есть на самом деле.

Я не слышу сквозь стены. Если вы будете кричать на меня через дорогу, я не поверну свою голову. Существует некая открытость в глухоте. Мой слуховой аппарат свистит, мой акцент выдает меня, с нетерпением, с нетерпением. Я смотрю на губы людей. Глухой, я нахожу, что большинство людей начинают со мной сближаться почти мгновенно. Они видят перед собой большого неловкого человека. Они могут чувствовать легкое превосходство или смущение из-за моего акцента. Они сбиты с толку, вынужденные представляться дважды, трижды или четырежды. Смех в том, как они говорят, я понимаю ваш акцент. Они кивают.

Спустя несколько десятилетий я возвращаюсь в Одессу и выключаю слуховой аппарат. Я знаю, это тишина, в которой оказался Шура, когда он вернулся сюда в 1945 году. Его глухота – это то, о чем отец никогда мне не рассказывал.

Мы на пляже. Отец рассказывает о Шуре, когда моя мать внезапно смеется, видя, как мой друг и я бежим в воду, плывем полмили до волнореза, взбираемся на него, а затем гуляем по нему, как будто ходим по воде, помахав родителям. Они такие маленькие, покинутые нами там, на песке. Мы шлем воздушные поцелуи симпатичным девушкам, загорающим на крыше гостиницы.

Для ребенка, который читает по губам, нет целостных историй. Но есть обрывки. Некоторые из них находятся на трамвайной остановке. Некоторые из них пахнут на углу улицы, что позволяет тоже стать воспоминанием. Некоторые из них – песчинки.

Сидя на песке, мой отец запинается на середине рассказа, когда моя мать прерывает его, указывает на двух мальчиков, идущих по воде.

Если мои родители мертвы, что здесь для меня в этом теперь пустом городе? Когда я говорю слово «ничего», я называю то, что существует.

Мне 8 лет, я в снегу, наблюдаю, как мой отец входит в дорогой ресторан. Внутри чья-то свадьба.

Наблюдайте за мной, говорят губы отца.

Через большие стеклянные окна ресторана его мальчик наблюдает за ним со снежной улицы.

Отец входит в зал, уже танцует. Он входит в комнату, пробираясь прямо к невесте. Целует невесту в обе щеки, затем смеется, поднимает ее, кладет себе на плечо и вальсирует на середину комнаты.

Я стою в снегу, цепляясь за руку моей матери. Через дорогу мой отец с этим большим белым облаком невесты над его головой. Он кружит с невестой на плечах, когда все люди собираются вокруг него, чтобы аплодировать. Затем он ставит на ноги невесту прямо перед женихом и целует ее руку.

Я не понимаю, что происходит. Теперь он вальсирует, пробираясь к самой толстой старушке в комнате, поднимая бутылку шампанского и наливая в свой стакан. Он стоит на коленях перед этой толстой женщиной, целуя ее руку. Все кружат вокруг него и хлопают в ладоши.

Снаружи, в снегу, я, растерянный мальчик, наблюдаю, как отец бродит по залу на свадьбе незнакомцев. Мой отец, который столько лет повторяет одно и то же, смеется, и окружающие его люди смеются. Он возвращается на улицу, улыбаясь, приносит большую бутылку шампанского и семь кусков свадебного торта.

Отец шепчет: «На большой свадьбе никто не знает друг друга. Невеста думает, что гость – родственник жениха. Жених пытается произвести впечатление на важного гостя невесты».

Вот о чем мой отец никогда не говорит, что я узнаю только много лет спустя: это трюк, полученный от Шуры. Глухой с войны, неспособный найти работу, чтобы накормить семью, Шура танцевал на чужих свадьбах, удивляя своего ребенка и жену ночью тарелками свадебного торта.

Интересно, этими улицами я могу поделиться с вами, отец, улицами, где вы наблюдали своего собственного глухого отца в 1945 году, были ли вы сбиты с толку его глухотой? Я вернулся, чтобы увидеть для вас одесские улицы, которые видел ваш глухой отец. Звуки заразительны, даже если никто не замечает. Звук кого-то, тяжело дышащего в поисках продуктов, влияет на частоту дыхания других людей в очереди. Я иду в гостиницу «Красная», чтобы подглядывать за свадьбой незнакомцев.

Вы когда-то украли для меня семь кусков свадебного торта. Послушайте, теперь я говорю вам семь вещей, которые глухой видит на свадьбах:

Раз. Когда мужья улыбаются своим женам, углы рта приближаются к их глазам. Но когда они улыбаются нотариусу, подписывающему свадебный сертификат, я вижу, как углы их рта двигаются к ушам.

Два. Когда бизнесмены говорят, они стоят носок к носку, я имею в виду обувь. Но если носок одного человека начинает смотреть в сторону, он хочет быть где-то еще.

Три. Когда пары едят торт, и они счастливы, их ноги двигаются или отскакивают. Но нам не нужно смотреть под стол, чтобы увидеть счастливые ноги. Смотрите на их рубашки или плечи. Посмотрите, как двигающиеся ноги заставляют двигаться плечи.

Четыре. Толпа ждет на свадьбе угощения. Обратите внимание, как люди свистят, чтобы успокоить нетерпение.

Пять. Женщина разговаривает с родственником, который заставляет ее смущаться. Она касается своего лица, облизывает губы.

Шесть. Иногда мужчина смущается. Вы увидите его беспокойство в том, как он поглаживает свою бороду.

Семь. Если на свадьбе есть оркестр, в пальцах дирижера живет тишина. Прежде чем дирижерская палочка задвигается, делая музыку видимой внутри чужих тел.

Глухота – это театр. Здесь глухой человек – аудитория. Все остальные актеры. Не нужно беспокоиться о тихом мире, к которому, люди слышащие думают, что мы принадлежим. Глухие не верят в тишину. Тишина – это изобретение слышащих.

Шура, до свидания, я уезжаю. Мы стоим на кладбище. Я наблюдаю, как губы отца окружают тишину его прощания, когда он стоит на коленях перед могилой Шуры. Прощай, мой дорогой. Я ухожу. Я ухожу, чтобы дать моему мальчику будущее.

Идет снег. Это 1993 год. Я наблюдаю, как губы отца шепчут надгробной плите:

– Наш почтальон Саша согласился присмотреть за твоей могилой. Ты меня слышишь?

Я в Одессе, отец. Это 2018 год, через 25 лет после того, как мы покинули этот город. Возвращаюсь сюда, чтобы отключить свой слуховой аппарат и остановить время. Прикладываю руки к стене – и слышу скрежет такси, тормозящего на красный, проезжающий троллейбус, женщин, спорящих на углу улицы. Отвожу руки от стены – ничего нет. Руки к стене – собака лает, на проспекте воеет сирена. Руки со стены – нет ничего.

Это снова 1993 год. Тишину не интересует понятие времени.

Советский генсек Леонид Брежнев выступает с речью. Его губы двигаются, толпа хлопает, я ничего не слышу. Увеличиваю громкость телевизора, Брежнев делает новое заявление,

я этого не слышу, делаю еще громче, толпа аплодирует, я этого не слышу.

Мне 5 лет. Учитель приходит в наш класс. Ее голос дрожит. Я этого не слышу.

– Дети, Брежнев умер, – говорят ее губы. – Я боюсь, что война начнется завтра в полдень.

Мои родители еще не знают, что я потерял слух после случая свинки, который наш одесский участковый врач принял за простуду. В полдень заводские свистки продолжают в течение часа. Я их не слышу.

В тот день, когда Брежнев умирает, моя мать узнает о моей глухоте, и начинается одиссея с врачами и больницами. Моя мать кричит пожилым гражданам в общественном транспорте:

– Встаньте, пожалуйста, и дайте больному ребенку место!

Мой отец, смущенный, прячется в другом конце троллейбуса. Я не слышу ни слова. Мать распростерлась надо мной, желая оградить меня своим телом от чужих глаз в троллейбусе.

Брежнев мертв. Странные люди в трауре на публике. Так начинается история моей глухоты.

Отец умирает от сердечного приступа почти через год после того, как мы прибудем в Штаты, за несколько недель до того, как я начну носить слуховой аппарат. Я никогда не услышу его голоса.

– Мы приехали в Америку ради счастья наших детей, – говорит мать на похоронах. Она переживает отца на 24 года; каждый год она будет напоминать мне, что я все больше и больше на него похож.

У нее будет инсульт, она будет жить парализованной более десяти лет; к концу она не сможет ходить и будет двигать только одной рукой. Она будет самой красивой женщиной, которую я знаю, она будет кричать на незнакомцев, запутывая своих американских соседей, медсестер, русских, которых она знала несколько десятилетий назад, она будет проклинать и смеяться над ними на языке, который они не понимают, они будут вежливо улыбаться, испуганные странной женщиной в инвалидной коляске, которая кричит на них, как парализованный ветхозаветный пророк со взъерошенными белыми волосами. В течение десятилетия я буду брать ее на прогулку в инвалидном кресле и шептать про себя: «Это самая красивая женщина, которую я знаю».

– Отец, он любил путешествовать, – говорит она, – уходил, потому что хотел почувствовать счастье возвращения.

Отец сказал мне, что это было окончательное счастье. Всегда помните, высшее счастье – возвращаться домой.

Она говорит мне не звонить ей после шести вечера. Она звонит мне в час ночи, потому что почувствовала себя одинокой. Она звонит моей двоюродной сестре в пять утра, чтобы пригласить ее на вечеринку, которой не будет, будя всех пятерых жителей квартиры. Она любит долгую беседу, часто акцентируя внимание на том, как мой отец любил ее. Она звонит в девять утра, чтобы спросить, почему я не звоню ей целый день. Она оставляет двадцать сообщений в течение часа. Теперь, после того как она умерла, это самые ценные вещи из моих сокровищ – ее телефонные сообщения.

Как человек меняется, после того как умирает. Это эссе должно быть о моей матери. Но я пока не могу поместить ее голос в простую прозу. И почему я должен? Всякий раз, когда я хочу ее услышать, я могу проверить свои сообщения. «Я люблю тебя, сыночек. Почему ты не звонишь мне?»

Каждое утро на протяжении десятилетия она звонит и требует сказать, что я ел на завтрак. Она звонит и сообщает, что она ела на ужин. Это наше десятилетие после инсульта. Она читает книгу. В течение многих месяцев она читает одну и ту же книгу.

Не спрашивайте меня, почему я приехала в Америку. Я приехала в Америку ради счастья моих детей. Она будет повторять одни и те же слова снова и снова.

– Воды, дайте мне воды и прикройте меня, прикройте меня! – и заканчивает одну и ту же историю: – Я тебя так сильно люблю, мальчик мой.

Нет, она говорит:

– Я ничего не хочу, я ничего не хочу, но дайте мне малину. Сыночек, почему ты спрашиваешь меня, что я помню? Перестань спрашивать меня. Я слишком стара, чтобы иметь воспоминания.

Я отказываюсь объяснять это молчание одесской улицы кому-либо – это слишком интимно. Я пришел сюда, потому что мои родители никогда не смогут вернуться. Я добрался до этого города,

чтобы мама снова могла маршировать в конце колонны матросов, пока мой отец приветствует их.

Мама говорила, что мои уши не пусты, они открыты.

У меня нет никого, кому я могу объяснить, что произойдет, когда я наконец включу слуховой аппарат, – теперь трепет внутреннего уха неумолим. Мозг учит: это звук шагов ваших собственных ног. Это голос вашего соседа из отеля, говорящего в другой комнате, когда голос дрожит сквозь стены. Когда я включаю слуховой аппарат на этих улицах, мои родители снова мертвы.

Поэтому я отключаю его.

Здесь я вижу: днем мы спускаемся по улице Пушкинской с нашими тяжелыми чемоданами, мы направляемся к вокзалу. Это 14 января 1993 года. Идет снег. Троллейбусы и такси не работают. Мы тащим наши чемоданы по городу в поезд и еще раз желаем доброго утра этому городу, Виктор и Элла Каминские, и их сын.

Перевод с английского Елены Андрейчиковой

От редакции. Илья Каминский – автор книги «Танцующий в Одессе», которая получила поэтическую премию в 2005 году, и «Республика глухих» – сборник стихотворений, изданный в GraywolfPress в марте 2018 года. Это его первая статья для журнала.

